

ТЮТЧЕВ И РОССИЯ

Казалось бы, всѣм извѣстно, что думал Тютчев о Россіи и какой любовью он ее любил. Славянофильскія мечты и ура - патріотическія чувства, коими вдохновлены многіе изъ нелучшихъ его стиховъ, какъ будто не оставляютъ на этотъ счетъ никакихъ сомнѣній. В томъ же свѣтѣ воспринимаютъ обычно и его французскія статьи, а эпиграммы и *bons mots*, противорѣчащія имъ, легко истолковываются, какъ обычное фрондерство. На самомъ дѣлѣ, однако, нѣтъ у насъ писателя, чье отношеніе къ Россіи было бы противорѣчивѣй и сложнѣй. Это раскрывается в его письмахъ, читаемыхъ мало, хотя только в нихъ и дается ключъ ко многимъ сторонамъ его личности и творчества *). С ихъ помощью можно попытаться проникнуть в одну изъ тютчевскихъ тайнъ, идя отъ поверхности къ глубинѣ, отъ наружнаго слоя къ тому, что скрыто подъ нимъ, а оттуда, быть можетъ, и къ третьему, еще болѣе глубокому.

1.

Один изъ самыхъ удивительныхъ парадоксовъ тютчевской жизни (и всей исторіи поэзии) заключается в томъ, что умъ его, во всю эту жизнь, былъ по настоящему занятъ однимъ: политикой. Источникъ поэтическаго творчества в душѣ его не оскудѣвалъ до послѣднихъ дней, но вниманіе его ума, если когда-либо направлялось на литературу, хотя бы и стихотворную, то лишь в молодости, и то не настолько, чтобы сдѣлать его литераторомъ или хоть внушить ему заботу о судьбѣ собственныхъ стиховъ. Ни къ какимъ писательскимъ группировкамъ Тютчевъ не принадлежалъ, ни одной строчки на русскомъ языкѣ,

*) Прежде всего я, конечно, имѣю в виду письма къ его второй женѣ, рожд. баронессѣ Пфевфель (по первому мужу Дернбург). Они были изданы во время войны в четырехъ выпускахъ малораспространеннаго журнала «Старина и Новизна», къ сожалѣнію, с пропусками и вообще довольно небрежно. Небезупречен и сдѣланный для этого изданія переводъ ихъ французскаго текста. Цитаты изъ нихъ я привожу либо в подлинникѣ, либо в исправленномъ переводѣ.

кромѣ стихов, не напечатал. Отзѣвы о литературных произведеніях в его перепискѣ рѣдки и случайны, и ни одного общаго сужденія по литературным вопросам он, кажется, никогда не высказал. Европейскую поэзію, как это видно по упоминаніям, намекам, переводам, знал он хорошо, но то была духовная пища, издавна усвоенная его геніем, а не предмет его размышлений, и даже не то, чѣм заполнял он свой досуг. В 1847 году, во Франкфуртѣ, Жуковский читал ему свой перевод «Одиссеи», и он писал женѣ, что при этом случаѣ ему была возвращена «давно дремавшая способность искренно и полностью отдаваться чисто - литературному наслажденію». Двѣнадцать лѣтъ спустя он жалуется ей-же на Москву, «город архи - литературный, гдѣ вся эта пишущая и читающая братія слишком уж принимает себя всерьез», так что очередное засѣданіе Общества Любителей Россійской Словесности кажется важнѣй, чѣм «грозная событія, готовящіяся на Западѣ».

Для Тютчева событія, почти всегда грозныя на его взгляд и угрожающія Западу едва ли не больше, чѣм Россіи, были тѣм, что всю жизнь заставляло работать его ум с наибольшим напряженіем и страстностью. Деревенской жизни бѣжал он именно потому, что не мог обойтись без новостей, газетных депеш, без политических толков, слухов и предсказаній. В перепискѣ с женой политика господствует над всѣм, даже над свѣтской жизнью, ревматизмом и дурной погодой. Восемнадцатилѣтній студент уже увлечен «восточным вопросом», и Погодин записывает в свой дневник его сужденія о греческом возстаніи и судьбѣ Турціи: «Цѣлый народ выгнать трудно. Проѣзд цѣлаго народа через Мраморный пролив будет занимателен». А старик, разбитый параличем, незадолго до смерти, еще «жаждет, — по словам Аксакова, — говорить о политикѣ и общих вопросах», опять - таки политических, диктует на эти темы глубокомысленныя письма своим заграничным корреспондентам и даже свою болѣзнь называет, как не всякому придет в голову — «мой Седан». Годы, проведенные на дипломатической службѣ, уже потому даром не могли пройти, что, повидимому, отвѣчали исконному его призванію. Политика, увлекающая Тютчева — внѣшняя политика; вопросы, интересующіе его — международные вопросы. Он и Россію, поскольку созерцает ее разумом, видит, прежде всего, как государство, а в государствѣ этом самое важное для него не внутреннее устройство, а внѣшнее могущество и вліяніе. Патріотизм его, из чувства превращаясь в мысль, Рос-

сію мыслит не иначе, как мощным рычагом европейской и міровой политики. Этим и опредѣляется отличие его, в исходной точкѣ болѣе, чѣм в выводах, от ближайших единомышленников его, славянофилов.

«Милый, умный, как день умный, Федор Иванович» (так поминал его Фет) со славянофилами дружил, выдал за одного из них старшую дочь, но недаром, должно быть, голова Аксакова под вѣнцом показалась ему похожей на «деревянную раскрашенную куклу, изображающую Карла Великаго»: зятя он цѣнил и тот почитал тестя, но в біографіи, памятникѣ их духовной связи, «безцѣннѣйшій Иван Сергѣевич» все же довольно замѣтно упростил и личность ея героя, и его мысль. Уже за семь лѣтъ до этой свадьбы, в 1858 году, Тютчев, в письмѣ к женѣ, сѣтовал на многословіе и вѣчныя повторенія своих соратников, собравшихся у Хомякова, а в 1870 году ей-же писал о нѣкоем «славянском обѣдѣ», на который не пошел, «дабы не подвергаться скукѣ слушать бесполезное и даже смѣшное пережевываніе общих мѣст, тѣм болѣе, мнѣ опротивѣвших, что я и сам отчасти в них повинен». Он прибавляет, что люди и вообще нерѣдко дѣлают для него неприемлемыми его собственныя мнѣнія и что он особенно цѣнит тѣх, кто, как Самарин, такого впечатлѣнія на него не производят. Конечно, в сужденіях этого рода многое проистекает из простого раздраженія, которому подвержен всякій мыслящій человекъ, убѣдившійся в том, что и так называемые единомышленники его не застрахованы от недомыслія. Однако в расхожденіи Тютчева со славянофилами, болѣе существенном, быть может, чѣм казалось обѣим сторонам, было и нѣчто другое, нѣчто, в силу чего славянофилы должны были являться Тютчеву в образѣ нѣсколько провинціальном, а сам он представляться им слишком уж петербургско - царскосельским человекѣм, и даже попросту человекѣм западным.

В 1830 году Иван Кирѣевскій писал о нем из Мюнхена домой: «Он мог бы быть полезен даже только присутствіем своим, потому что у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам». Сходные отзывы повторялись не раз, и, конечно, Тютчев был европейцем не только в том смыслѣ, в каком это можно сказать (и потому неинтересно говорить) о любом русском образованном человекѣ новаго времени. Во всем, что касается мысли, он был европейцем не только сквозь Россію, но и непосредственно, п как бы от Россіи независимо. Он не только усвоил европейскую

культуру, но и европейскую землю чувствовал своей землей. Мыслил он европейски, т. е. исходя из дѣла Европы, просто потому, что иначе мыслить не умѣл, и Россія была для него хоть и восточной Европой, а Европой. Настоящій Восток был ему чужд, и ничего азіатскаго он в русском не искал. Еще за два мѣсяца до смерти он писал в Париж княгинѣ Трубецкой: «Мы тут заняты чествованіем шаха персидскаго. Что до меня, то всѣ эти полу-варварскіе восточные люди не внушают мнѣ ничего, кромѣ ужаса и отвращенія». Другой культуры, кромѣ европейской, он не знает. «Большое неудобство нашего положенія, — пишет он Вяземскому, — заключается в необходимости для нас называть именем Европы то, что слѣдовало бы называть не иначе, как его настоящим именем: цивилизація». Это значит, что Тютчев не одобряет русскаго нарочитаго европеизма, т. е. рабскаго подражанія Западу, но это значит также, что двух цивилизацій, двух культур, русской и западной, для него нѣтъ, а есть лишь одна, европейская, одинаково принадлежащая Западу и Россіи. Судьба этой обще-европейской цивилизаціи и есть то, что волнует его всю жизнь; заботами о ней вызваны самыя глубокія и пророческія его мысли, вродѣ той, что была им высказана женѣ во время франко-прусской войны, о нелѣпости, моральной невозможности войны «en pleine civilisation»: «Это — как бы публичный опыт людодѣства. Самая правильность, вводимая цивилизаціей во всѣ эти избіенія и грабежи, дѣлает их еще болѣе омерзительными».

Достойно вниманія, что всѣ три тютчевскія статьи по внѣшне-политическим вопросам написаны не столько с точки зрѣнія русских интересов, сколько с точки зрѣнія интересов европейских; и то же, вѣроятно, можно было бы сказать о его книгѣ «Россія и Запад», если бы он удосужился ее написать. Письмо, адресованное в 1844 году редактору «Gazette Universelle d'Augsbourg», всецѣло посвящено нѣмецким дѣлам и рекомендует германским государствам такую политику, которая, прежде всего, должна пойти на пользу им самим. Докладная записка о «Россіи и революціи» тоже имѣет в виду, прежде всего, Германію, которую Россія призвана защитить от наступающих на нее из Франціи революціонных идей, а может быть и войск. Наконец, статья «Римскій вопрос», напечатанная в «Ревю дэ де Монд», вдохновлена тревогой за судьбу католичества и убѣжденіем, что его спасет лишь соединеніе церквей и проистекающій из него союз с несокруши-

мым православным царством. Правда, всё эти статьи, наброски к ненаписанной книгѣ, как и политическіе взгляды Тютчева вообще, покоятся на вѣрѣ в провиденціальное призваніе Россіи и в великое будущее російской имперіи; однако, характерно для него, что и будущее, и призваніе это все как-то созерцает он из милого Мюнхена или с не менѣе любезных его сердцу берегов женевского озера, хотя бы в ту минуту и бесѣдовал он с Хомяковым и Аксаковым в Москвѣ или глядѣл на Невскій проспект из окон своей квартиры в домѣ армянской церкви. Можно почти сказать, что Россія нужна ему только для Европы, и во всяком случаѣ взгляды его не питаются, как у славянофилов, никаким предпочтеніем, которое он отдавал бы русской культурѣ перед европейской. Он не собирается Европу, хотя бы и гибнущую, приносить в жертву Россіи; он только полагает, что Европа погибнет, если Россія не спасет ее от гибели.

Нѣтъ сомнѣнія: Тютчев был горячим русским патриотом, негодовал на политику Нессельроде, ведшаго Россію на поводу австрійскихъ интересов, скорбѣл об исходѣ крымской кампаніи, не всегда бывал доволен Горчаковым, желал усмиренія поляков и вообще требовал твердости, воспѣвалъ мощь, молился об одолѣніи супостатов. Однако, поскольку рѣчь идет об идейных, а не стихійныхъ источникахъ его патриотизма, можно сказать, что источники эти были универсальными, а не національными. Завѣтнѣйшая мечта его, «Великая Греко - Россійская Восточная Имперія», была мечтой о новой Европѣ, о вселенскомъ утвержденіи обновленной христіанской культуры, а не о воскрешеніи московскаго царства и не о торжествѣ специфически - русскихъ начал. Уже в стихахъ «На взятіе Варшавы» он оправдывал покореніе Польши не необходимостью, не выгодой, не славой, а этимъ универсальнымъ замыслом, этой «всемирною судьбой Россіи», как он скажетъ двадцать лѣтъ спустя. В порядкѣ возможнаго новаго «нашествія двенадцати языкъ» он готов противопоставлять Россію Западу, но не придавая этому смыслъ окончательной и непреложной розни, и не гибели Запада желая, а его спасенія. Россію - же видит он при этомъ не в ея реальности, не в настоящемъ, а в чаемом и возможномъ будущемъ. Если вѣра в это будущее пошатнется, самый образъ Россіи заколеблется в его душѣ. Недаромъ в едва-ли не лучшемъ из своихъ политическихъ стихотвореній, по случайному поводу, но быть можетъ не только в связи с нимъ, он спрашиваетъ себя:

Ты долго-ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звѣзда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?

Ужель навстрѣчу жадным взорам,
К тебѣ стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои разсыплотся лучи?

Одержимость политикой, не Тютчева, но тютчевскаго ума, нерѣдко приводила к сужденіям опрометчивым и поспѣшным по поводу событій, не столь уж значительных и оцѣниваемых односторонне, с точки зрѣнія одних лишь междугосударственных отношеній. В предвидѣніи ближайшаго будущаго, он часто ошибался, считал, напримѣр, в 1870 году, что Франція неминуемо раздавит Германію, хотя будущее болѣе отдаленное угадывать умѣл, и в бисмарковском «культуркампфѣ» (как он о том писал в предсмертном письмѣ барону Пфеффелю) узнал все то, что пол вѣка спустя составило идею тоталитарнаго государства. Россію он видѣл в грандіозной — и совершенно вѣрной — всемірно - исторической перспективѣ, однако, нѣсколько отвлеченной и внѣшней, в силу самой этой грандіозности. Посѣщеніе Москвы и Кремля, послѣ двадцатилѣтняго пребыванія за-границей, дало ему образ византийско - русскаго міра, болѣе древняго, чѣм самый Рим, и к этому чувству прошлаго неизбѣжно присоединилось, говорит он, «предчувствіе неизмѣримаго будущаго». Рядом с таким взглядом, обычные славянофильскіе — мельче, но теплѣй. Завороженность будущим, выростающим из самой глубины прошлаго, приводит к ослабленію чувства конкретной русской исторіи, которая Тютчева, повидимому, не очень интересовала, и даже конкретной русской дѣйствительности, в которой он слишком склонен был видѣть лишь самое близкое — политическія интриги — или самое общее: руссійскую державу в ея отношеніях с другими политическими силами. Оттого-то политическіе стихи его и слабѣй других, что их питают сравнительно поверхностныя чувства и мысли, тогда как все то сложное, что скрыто под этой наружной пеленой, не получает в них почти никакого выраженія. Если же пелену приподнять, сразу открывается совсѣм иной образ Россіи, который в Тютчевѣ

жил, хоть он вовсе и не был ему рад, и в котором нѣтъ ничего общаго с тѣм, что лег в основу его политической мысли и политической поэзіи. Или, если общее есть, то развѣ лишь то, о чем говорит замѣчательная формула, найденная однажды в Варшавѣ пятидесятилѣтним поэтом, из очередной заграничной поѣздки возвращавшимся на родину: «*cette saleté pleine d'avenir de la chère patrie*».

2.

Часто в стихах и чаще еще в письмах встрѣчается у Тютчева эта тема, возвращеніе домой, и каждый раз чувствуешь: как тягостен возврат, как грустно разставаться с тѣм, что осталось позади, как трудно дается ему Россія! В 1839 году он пишет родителям из Мюнхена: «Я устал от этого существованія внѣ родины, и время подумать о пристанищѣ в старости, которая уже подходит», а пять лѣтъ спустя, из Петербурга, он жалуется им же, что отвык от русской зимы, которой не испытывал девятнадцать лѣтъ. И не только от зимы он отвык, но и от осени и весны, от петербургской оттепели, от ранних сентябрьских холодов, от всей русской погоды, — что значило не мало для человѣка, у котораго от переменъ погоды мѣнялся и весь строй души. В письмах женѣ с поразительным постоянством повторяются жалобы и восторги по поводу солнца и дождя. В Петербургѣ, на Островах, лѣто 52 года прошло недурно, однако, погода испортилась в первых числах сентября, и этого было достаточно, пишет он, чтобы «окраска моих мыслей перешла из нѣжно - сѣрой в рѣшительно - черную». Август 54 года, кромѣ эпистолярных восторгов, вызвал еще стихотвореніе «Какое лѣто, что за лѣто!», а когда 24-го числа сильный вѣтер положил конец очарованью, Эрнестина Федоровна получила приличное случаю торжественно - грустное поминальное письмо. Славословіи зимѣ Тютчев не слагал, она и вообще рѣдко появляется в его стихах, и чтобы метель, пороша или рифмующія с морозом «дѣвичьи лица ярче роз» его плѣняли, что-то не слышно. Любил он только хорошо прогрѣтое лѣто и теплое начало осени. Июльскими днями 56 года, проведенными в Петергофѣ, он остался настолько доволен, что обозвал их сверх-естественными для тѣх широт; зато холодный іюнь два года спустя заставляет его лишній раз воскликнуть «*Ah, quel chien de pays!*»: лучшаго от Россіи ожидать трудно. Вѣдь и в тѣх августовских стихах говорится:

Россію, чтобы приготовить к слѣдующему году свой окончательный переѣзд туда со всей семьей. За Варшавой, пишет он, «разстается грозная скинская равнина, столь пугавшая тебя на моей рельефной картѣ, гдѣ она образует такое огромное пятно. В дѣйствительности она нисколько не болѣе пріятна». Через четыре года, вернувшись на лѣто за-границу, с каким восторгом описывает он вновь посѣщенные берега Рейна, баденскій и гейдельбергскій замки, Цюрих, Базель, прогулку в окрестностях Вильдбада, побудившую его благодарить Бога за то, что на свѣтѣ еще есть горы, столь утѣшительныя, когда смотришь на них «послѣ долгих трех лѣтъ, проведенных среди равнин и болот»; что и говорить: «*ma fibre occidentale a été grandement remuée tout ce temps-ci*». И вновь, шесть лѣтъ спустя, вернувшись из очередной заграничной поѣздки, жалуется он на грустную страну, гдѣ нечѣм замѣнить горы, кромѣ облаков, и спрашивает себя, как это «великій поэт, создавшій Риги и женеvское озеро, *a-t-il pu signer de son nom de pareilles platitudes*».

«Que ne donnerais-je pas maintenant pour avoir devant moi une belle montagne en chair et en os!» Этот стон проходит через всю его жизнь. В тѣ-же времена Некрасов ѣздил за-границу и, воротясь, написал (в 57 году) «Тихину»:

Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующій простор!

Но Тютчева простор не врачевал. Однажды он писал из Берлина, перед тѣм, как пуститься в обратный путь: «Наконец, наконец, остается сдѣлать послѣдній шаг, и не далѣе, как сегодня вечером, я окунусь — не в вѣчность, как повѣшенный в Англии, а в безконечность, как путешественник в Россіи». В тот год (59-й) ему особенно не хотѣлось ѣхать домой (хотя совершенно сходныя жалобы повторяются и позже, напримѣр в 62 году); еще из Веве он писал Эрнестинѣ Федоровнѣ в Париж: «Я раздѣляю вполнѣ не только твое сожалѣніе покинуть Париж, но и твой ужас при мысли о возвращеніи. Сегодня мы сдѣлали прогулку в замокъ Отвиль (...). Что за воздух, что за освѣщеніе, какіе виды! И смотря на это озеро и горы, в свѣтящейся дымкѣ, казалось, грезившія на яву, я

вдруг вспомнил, что меньше, чѣм через шесть недѣль, я снова буду видѣть перед собой Гостинный двор, печально освѣщенный с четырех часов дня фонарями Невскаго проспекта, и содрогнулся. В ту осень дорога из Кенигсберга в Петербург внушила Тютчеву еще болѣе грустные стихи, чѣм тѣ, что были написаны почти за тридцать лѣтъ до того («Через Ливонскія я проѣзжал поля»), но основное переживаніе осталось тѣм же. И, конечно, это не случайное впечатлѣніе вылилось в них, а всегдашнее чувство родной страны:

Родной ландшафт.. Под дымчатым навѣсом
Огромной тучи снѣговой —
Синѣт даль — с ея угрюмым лѣсом,
Окутанным осенней мглой..

Случай не родит таких стихов, как эти:

Ни звуков здѣсь, ни красок, ни движенья —
Жизнь отошла — и покорясь судьбѣ,
В каком-то забытьѣ изнеможенья,
Здѣсь человекъ лишь снится сам себѣ.

Тут, конечно, не одна словесная живопись, да и не один «ландшафт» дѣлал тягостным для Тютчева возвращеніе домой, и не одним зрѣніем, не одними внѣшними чувствами воспринимал он образ своей Россіи. Русскій постоялый двор он однажды назвал «la plus triste des choses dégoûtantes», но, конечно, и не отсутствіе дорожных или иных удобств настраивало его на хмурый лад, хоть он и говорит о поэзіи комфорта, еще неизвѣстной Россіи, в том самом сентябрьском письмѣ 53 года, гдѣ он прощается в Варшавѣ с «гнилым Западом, столь опрятным и удобным, pour rentrer dans cette saleté pleine d'avenir de la chère patrie». Из других писем и устных высказываній Тютчева явствует, что «saleté» тут можно понимать не только в прямом, но до нѣкоторой степени и в переносном смыслѣ. Через всю жизнь пронес он нерадующее чувство нецивилизованности, неотесанности, а то и прямого варварства Россіи. Лѣтом 1825 года, когда начинающій дипломат впервые вернулся домой послѣ двухлѣтняго пребыванія за-границей, Погодин записывает в дневникъ: «Остро сравнивал Тютчев наших ученых с дикими, кои бросаются на ве-

щи, выброшенные к ним кораблекрушеніем». А также: «Говорил с Тютчевым об иностранной литературѣ, о политикѣ, об образѣ жизни тамошнем. Мечет словами, хоть и видно, что там не слишком занимался дѣлом. Он пахнет Двором. Отпустил мнѣ много острот. «В Россіи канцелярія и казармы. Все движется около кнута и чина». Из этих слов не слѣдует дѣлать поспѣшных выводов о политически «лѣвых» настроеніях, позже, будто-бы, смѣнившихся другими. Что самовластье, по мнѣнію Тютчева, может развращать, видно из его стихов, посвященных декабристам; однако, он и позже проводит различіе между самодержавіем и абсолютизмом (т. е. именно самовластьем), не переставая в то же время быть вѣрным слугой російскаго самодержца и вообще — «пахнуть Двором». Критика его, от которой он не отказывался всю жизнь, шла почти исключительно по двум путям: либо касалась вѣшней политики (тут он бывал крайне рѣзок, напримѣр в осужденіи всей вѣшнеполитической системы николаевскаго царствованія), либо вдохновлялась уже не столько политическими идеями, сколько прямыми интересами культуры, а в этой области и стиралась всего легче грань между пороками власти и свойствами русской жизни вообще.

«Кнут и чин» были и остались ненавистны Тютчеву, прежде всего. тѣм, что с их помощью происходило подавленіе духовной свободы, то, что, в одном из горьких писем, вызванных крымской войной, он назвал «*écrasement de l'intelligence*». В том письмѣ, написанном в особенно мрачную минуту, он говорит, что подавленіе это систематически проводилось правительством за послѣдніе годы и привело к результатам всеобъемлющим: «*Tout a subi ce niveau de suppression. Tout s'est crétinisé ensemble*». Послѣднее выраженіе характерно: многое в Россіи казалось Тютчеву именно глупым, то невинно - глупым, а то и преступно - глупым, и тогда ведущим к гибели. В тѣ же критическіе годы он пишет женѣ, что управленіе дѣлами «принадлежит мысли, которая сама себя не понимает»; «чувство такое, как будто находишься внутри кареты, катящейся вниз по все болѣе крутому склону, и вдруг замѣчаешь, что на козлах нѣтъ кучера». С порабощеніем мысли он боролся по мѣрѣ сил при Александрѣ II, засѣдая в Комитетѣ иностранной цензуры, но, конечно, и многое другое, темное, видѣл он кругом, что казалось ему неотъемлемым и непреодолимым. Любопытно, что в письмѣ, посланном в 1844 году в аугсбургскую газету, он не оспаривает по существу того, что го

ворят за-границей о «несовершенствах нашего общественного строя, пороках нашей администраціи, положеніи наших низших классов», а лишь ссылается на примѣръ ирландскихъ крестьянъ и манчестерскихъ фабричныхъ рабочихъ, которымъ живется еще хуже, чѣмъ даже русскимъ, сосланнымъ въ Сибирь. Международная роль Россіи, въ настоящемъ, и особенно въ будущемъ, перевѣшиваетъ въ его глазахъ всю неурядицу ея внутренняго строя; передъ иностранцемъ онъ ее защищаетъ, не отдѣляя грѣховъ власти отъ грѣховъ страны; по въ собственномъ своемъ сознаніи, продолжая ихъ видѣть слитно, онъ все же ихъ видитъ, эти общіе, русскіе грѣхи, и отъ нихъ во всю жизнь не перестаетъ его коробить.

Коробитъ его отъ многого въ нравахъ, въ манерахъ, во всемъ пошибѣ русскаго знатнаго и образованнаго общества. По поводу роскошнаго приѣма у Кушелевыхъ онъ пишетъ однажды: «Il y a un certain style canaille qui fait très bien sur un fond d'or». Отъ впечатлѣній такого рода, отнюдь не единичныхъ, онъ ищетъ утѣшенія въ мысли объ извѣстной первобытности русскаго общества и, значитъ, дѣвственности, невинности самыхъ его пороковъ. Въ 53 году въ Петербургъ пріѣзжала Рашель, и Тютчевъ не удивляется, что ей понравилось въ Петербургѣ. «Я понимаю, — пишетъ онъ, — что для природы, все испробовавшей, все исчерпавшей, была отдохнительна эта простодушная среда, столь мало тронутая разложеніемъ, столь несложная въ своей испорченности. Это входитъ въ ея курсъ лѣченія ослинымъ молокомъ». Но въ то же время, по сравненію съ безукоризненно воспитаннымъ западнымъ человѣкомъ, это же общество кажется ему нестерпимо неотесаннымъ и простоватымъ. На празднествахъ коронаціи, въ Москвѣ, повстрѣчалъ онъ у Бахметьевыхъ молодого лорда Актона, и встрѣча, какъ онъ говоритъ, навела на него глубокую меланхолію «tant j'ai été frappé du contraste qu'il y avait entre la distinction naturellement aristocratique de ce jeune homme et la vulgarité également naturelle de tout ce qui l'entourait». Тотъ, кто знаетъ, что значила для Тютчева «свѣтская жизнь», т. е. хорошо отстоявшіяся формы цивилизованнаго общенія между людьми, пойметъ, почему вечеръ у Бахметьевыхъ, да еще мюнхенскія воспоминанія, всплывшія на немъ, привели къ очердному припадку той болѣзни, что такъ часто вызывали у него люди, природа, погода его страны: тоски по чужбинѣ, или какъ онъ выразился въ этомъ случаѣ, «nostalgie en sens contraire».

3.

Тоска по чужбинѣ — таков итог отношенія Тютчева к Россіи, открывающагося под наружным пластом политических убѣжденій и надежд и отвѣчающаго непосредственным его чувствам, а не каким-нибудь отвлеченным построеніям. Послѣ его смерти кн. И. С. Гагарин вспоминал его слова: «*Je n'ai pas le Heimweh, mais le Herausweh*». Эти настроенія не были случайны, они возвращались к нему постоянно, были спутниками всей второй половины его жизни, послѣ возвращенія на родину. Когда семья за-границей, основной мотив его писем — «зачѣм я не с вами», но когда он сам за-границей, а семья в Овстугѣ или в Петербургѣ, он соболѣзнет Эрнестинѣ Федоровнѣ, но не торопится возвращаться к ней. В 58 году он за-границу не уѣхал и осенью пишет об А. О. Смирновой, что она «еще раз отложила свой возврат в милое отечество и что он, разумѣется, далек от того, чтобы ее за это порицать». Нѣсколько позже, в ту осень, он возвращается к той же темѣ: «*Les revenants de l'étranger sont presque aussi rares et aussi peu authentiques que ceux de l'autre monde, et ma foi, on ne saurait en conscience donner tort à ceux qui ne reviennent pas, tant on aimerait être de leur nombre*». В слѣдующем году он ѣздил в Германію и Швейцарію, в 60-м тоже, в 61-м оставался в Россіи, в 62-м «*Herausweh*» было особенно сильным, как видно по одному краснорѣчивому письму, и он вырвался вновь в Висбаден и к берегам женевского озера... Так проходила жизнь. Издали тревожила и манила старая Европа, ея духовный уют, ея прогрѣтая исторіей природа, поросшіе мохом камни и виноградники на солнечном склонѣ гор, а в «милом отечествѣ» было безпріютно и не по себѣ, и самую страшную душевную боль не подумал он развѣять в русских степях, а повез утопить в Средиземном морѣ:

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткія звѣзды глядят с высоты.

В этом волненіи, в этом сіяньи,
Весь, как во снѣ, я потеряю стою —
О как охотно бы в их обаяньи
Всю потопил бы я душу свою...

Что-ж, надо ли согласиться с Тургеневым, писавшим Фету из

Буживаля 21 августа 1873 года: «Глубоко жалѣю о Тютчевѣ; он был славянофил, но не в своих стихах, а тѣ стихи, в которых он был им, тѣ-то и скверны. Самая сущная его суть — *le fin du fin*, — это западная, сродни Гете?» Нѣтъ, согласиться нельзя. Западническое мнѣніе это тоже упрощает дѣло, хотя и не столь грубо, как упрощало бы мнѣніе противоположное, т. е. такое, по которому славянофильством Тютчева исчерпывалось бы его отношеніе к Россіи. Совершенно вѣрно, что в политических стихах дана лишь внѣшняя пелена этого отношенія и что в них не высказалась «самая сущная суть» поэта. Однако и тяга на Запад, быть может, не самое глубокое, что в нем было, и уж во всяком случаѣ челоуѣчская и стихотворная суть его стихов, хотя бы только что приведенных стихов, написанных в Ниццѣ, не французская, не нѣмецкая, а чисто русская. Если, хвала звуковую изобразительность стихов Вяземскаго о Венеціи, Тютчев сказал: «Что за язык этот русскій язык!», то развѣ каждый не говорил себѣ того же, читая тютчевскіе стихи, только не политическіе, а другіе? Конечно, и Даль, и Гильфердинг выучились писать по-русски, но тютчевская степень сліянія со стихіей русскаго языка могла быть дана только глубоко русскому челоуѣку, русскому, быть может, не в привычках и вкусах, не в устройствѣ ума, но в самой сокровенной сердцеви нѣ своей личности. Тютчев был предан російской имперіи, но душою дружил с Мюнхеном и «зеркалом Лемана»; однако сильнѣй этой преданности и этой дружбы была та незримая Россія, что жила не во внѣ, а в нем самом. Два раза был он женат на нѣмках, но «последняя любовь» его — русская любовь. Французскія письма его написаны прекрасно, с очень немногими отступленіями от правил чужого языка и в полном соотвѣтствіи с тѣм, что хочется назвать не его духом, а его умом; но французскіе его стихи все же оказываются черезчур русскими, по своему ритму, звуку, по самому чувству, которое хочет выразиться в них. Языковѣд Фосслер разсказал в одной из своих работ о нѣмкѣ, прожившей жизнь вдалекѣ от родины и разучившейся говорить по-нѣмецки, вплоть до послѣдней мучительной болѣзни, когда, для нея самой неожиданно, язык ея дѣтства стал языком ея предсмертных жалоб и молитв. Так и Тютчев: по-французски он размышляет и острит, по-французски ведет письменную и устную бесѣду с друзьями, но только в русских стихах изливает душу, потому что душа эта — русская душа.

О том, что не так просто, как думал Тургенев, обстояло дѣло с тютчевским «*le fin du fin*», говорит уже то смущеніе, которое испытывает он, когда вспоминает о своей «*fibre occidentale*», о неспособности чувствовать себя в Россіи, как в своей естественной средѣ, и быть в самом дѣлѣ, «как дома», когда он дома. Извиняет он себя тѣм, что не в Россіи провел лучшие годы, что не с ней связаны первыя радости, печали и утраты; но извиненіе не утѣшеніе, и рана останется незалѣченной всю жизнь. В августѣ 1846 года, на пути в Овстуг, он писал женѣ из Москвы: «Я еще не знаю, какое впечатлѣніе произведет на меня мѣсто моего рожденія, покинутое 28 лѣтъ тому назад, и по котором я так мало тосковал. Боюсь, что из меланхолических чувств я найду там одну скуку. Вѣдь ни одно из моих живых воспоминаній не восходит к тому времени, когда я там был послѣдній раз. Моя жизнь началась позже, и все, что предшествовало ея началу, мнѣ столь же чуждо, как кануи моего рожденія». Встрѣча с родными мѣстами и в самом дѣлѣ была безрадостной, — как, повидимому, и встрѣча с матерью, в Москвѣ, за три года перед тѣм. В сентябрѣ Эрнестина Ѳеодоровна получила длинное, грустное, нѣсколько растерянное письмо и при нем стихи, кончавшіеся так:

Ах нѣтъ! Не здѣсь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем,
Не здѣсь расцвѣлъ, не здѣсь был величаем
Великій праздник молодости чудной!
Ах, и не в эту землю я сложил
То, чѣм я жил и чѣм я дорожил!

Сказанное об Овстугѣ могло быть сказано и о Россіи. Невеселое письмо, невеселые стихи в сущности относятся и к ней. Тут один из источников той грусти, что, начиная с этого времени, постоянно сквозит в насмѣшливом (по отношенію к самому себѣ) тонѣ его писем и заглушается (быть может по инстинктивной потребности его натуры) славянофильской риторикой в патріотических стихах. Не мало должен был он думать о своей особой судьбѣ, чтобы однажды—в письмѣ из Веймара от 20 октября 1859 года — найти для нея такую острую формулу: «Что бы ни говорили, но единство мѣста — одно из трех единств старой, подвергавшейся стольким нападкам, классической драмы — болѣе необходимо, чѣм думают, для того, чтобы пьеса нас могла интересовать, по крайней мѣрѣ в дѣйствительной жизни».

Поэзія строится из противорѣчій; личность может от них погибнуть, но и на высшую ступень своего единства она не взойдет, если их нѣтъ. Тютчев жил в мучительной раздвоенности, но в глубинѣ он был един, а мукой и борьбой питался его гений. На поверхности был образ Россійской державы, с ея побѣдами, знаменами, пушками и врагами, а поглубже — «la saleté pleine d'avenir de la chère patrie»; но совсѣм глубоко было другое, другая Россія, хоть лишь изрѣдка выступали на поверхность ея не умом, а чутьем угаданныя черты. Однажды, послѣ осенней прогулки на Островах (в 68 году) он писал женѣ: «J'ai été mélancoliquement impressionné par l'aspect des pauvres arbres d'où pendent des touffes de verdure prêtes à se détacher. Ils ont tous l'air de poitrinaires». И еще за пятнадцать лѣтъ до того петербургская осень внушила ему, в письмѣ, гдѣ особо подчеркнута его тоска по горным пейзажам Запада, такую фразу: «A défaut de grandes scènes alpestres, nous avons eu ici, grâce à quelques belles journées d'automne, de charmants effets de lumière sur toutes les eaux de la Néva, si limpides et si résignées, et ses massifs de verdure bigarrée qui vont disparaître». Эти бѣдные, чахоточныя деревья, эти покорныя воды (французское прилагательное лучше, оно гениально) как бы содержат в зародышѣ тот образ Россіи, что был запечатлѣн 13 августа 1855 года в знаменитом стихотвореніи, гдѣ и в самом дѣлѣ все угадано и понято, что «тайна свѣтит» в ея убожествѣ, скудости, в ея смиренной наготѣ. Образ этот сроднился с тютчевской душой как-то исподволь, должно быть и для него самого незамѣтно, не отмѣняя других, болѣе скептических или болѣе побѣдных, болѣе тревожных или болѣе праздничных. Присутствіе его чувствуется уже в стихах, внушенных остановкой в Ковно за два года до того (в том же году, когда было написано письмо о бѣдных и чахоточных деревьях). Стихи эти лишь на поверхности, голым своим сюжетом — побѣдой Россіи над наполеоновскими полчищами — напоминают бравурно-патріотическія его произведенія (которыя, впрочем, продолжал он писать и послѣ того), по существу же тот Другой, что стоит на стражѣ Россіи, отнюдь не символ, хотя бы и религіозный, матеріальнаго ея могущества, а уже тот небесный Царь, что два года спустя явился поэту «в рабском видѣ» и удрученный тяжестью креста.

О той Россіи, что открылась ему в наибольшей глубинѣ его

духовнаго опыта, он сказал всего меньше, потому что о самом кровенном вообще говорить не любил. Передают, что он каждый раз болѣзненно сжимался, когда заходила рѣчь о его стихах, так что под конец с ним вообще никто не рѣшался говорить на эту тему. Однажды (по Аксакову) «в осенній дождливый вечер, возвращаясь домой на извозчицких дрожках, почти весь промокшій, он сказал встрѣтившей его дочери: «*J'ai fait quelques rimes*». То были «Слезы людскія, о слезы людскія...»; и как с той же крайней скромностью и почти с извиненіем говорил он всегда о своих стихах, так и Россію предпочитал публично превозносить и частным образом поругивать, а самое тайное, что о ней знал, во всей полнотѣ только раз и как-то само собой у него сказалось, — больше он къ этому не возвращался, даже и в стихах продолжал молчать. Впрочем, говорить, рассказывать, расписывать было и не нужно: достаточно было оставаться тѣм поэтом, каким он всегда был. Стихи и тайное вѣдѣніе Россіи несказанным образом были в нем одно. И в сущности все, что он думал о ней, вся гордость, и тревога, и печаль, все это было ничто рядом с тѣм, как она дышала в дыханіи его стиха, как жила и живет до сих пор в жизни его слова.

В. Вейдле